

Алексей Черкасов
Полина Москвитина

ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ

СКАЗАНИЯ
О ЛЮДЯХ ТАЙГИ

Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ч-48

Черкасов, Алексей

Ч-48 Черный тополь : Сказания о людях тайги : [роман] /
Алексей Черкасов, Полина Москвитина. — Москва : Из-
дательство АСТ, 2019. — 544 с.

ISBN 978-5-17-117103-2 (С.: Русская классика)

Компьютерный дизайн: Коляда Е.А.

Художник Ю.Д. Федичкин

ISBN 978-5-17-116543-7 (С.: Великий русский роман)

Оформление обложки Владимира Гуркова

«Черный тополь» — заключительная часть трилогии «Сказания о людях тайги», написанная в соавторстве с Полиной Москвитиной. Она повествует о сибирской деревне двадцатых годов, периоде Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Черкасова П.Д., 2018

© Черкасова Н.А., 2018

© Черкасова А.А., 2018

© Черкасова М.В., 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2019

ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

I

Много повидал на своем веку старый тополь!..

Его вильчатая вершина видна издали над домом Боровиковых, хотя дом — крестовый, рубленный в поморскую лапу из толстущих бревен, на фундаменте из лиственниц в обхват, более ста лет дубленых солнцем, — стоял на горе, а тополь тянулся снизу, из мрака и сырости поймы Малтата.

Давно еще грозовой удар расщепил макушку тополя; но дерево не погибло, справилось с недугом, выкинув вверх вместо одного два ствола.

Разлапистые сучья, как старческие крючковатые пальцы, протянулись до конька тесовой крыши, будто собирались схватить дом в охапку. Летом на сучьях густо вились веревчатые побеги хмеля. Тополь был величественным и огромным, прозванный старообрядцами Святым деревом. С давних пор под ним радели крепчайшие раскольники тополевого толка, выходцы из Поморья, крестились двумя перстами, предавая анафеме всех царей, а заодно с ними православных никонников за их еретичное троеперстие-кукиш. Невесты топольников вязали себе нарядные венки из гибких веток тополя, потом принимали крещение в студеных водах Малтата и Амыла, очищаясь от мирской скверны.

На всякую всячину насмотрелся тополь за длинный век свой: на радостных невест и на битых баб, на скорбных вдов и на сторожких, прячущихся под его ночной чернью неумных жен, лобызающих немужние сладостные уста.

Гнули его ветры, нещадно секло градом, корежили зимние вьюги, покрывая коркою льда хрупкие побеги молоди на заматерелых сучьях. И тогда он, весь седой от инея, постуки-

вая ветками, как костями, стоял притихший, насквозь прохватываемый лютым хиузом. И редко кто из людей задерживал на нем взгляд, будто его и на земле не было. Разве только вороны, перелетая из деревни в пойму, отдыхали на его двуглавой вершине, чернея комьями.

Но когда приходила весна и старик, оживая, распускал коричневые соки клейких почек, первым встречая южную теплинку, и корни его, проникавшие в глубь земли, несли в мощный ствол живительные соки, — он как-то сразу весь наряжался в пахучую зелень. И — шумел, шумел! Тихо, умиротворенно, таким старческим мудрым гудом. Тогда его видели все, и он нужен был всем: и мужикам, что в знойные дни сиживали под его тенью, перетирая в мозолистых ладонях трудное житье-бытье, и случайным путникам, и ребятишкам. Всех он встречал прохладой и ласковым трепетом листвы. К нему летели пчелы, набирая на лапки тягучую смолку, чтобы потом залатать прорехи в своих ульях, мохнатые жирные шмели отсиживались в зной в его листве, болтливые сороки устраивали на нем свои немудрящие гнезда.

Сколько же ветров и бурь пронеслось с той поры, когда первый хозяин еще недостроенного дома — Ларивон Филаретыч Боровиков с внуками и сыновьями затравил собаками беглого варнака, и, как потом узнали, родного брата, Мокея Филаретыча, из чьей кровушки каторжанской возрос на диво всем могучий тополь!..

Шли годы и годы...

Менялись поколения, времена и нравы, а старый тополь все так же шумел под окнами дома Боровиковых.

Костляво-черный в зимнюю пору, белый от куржака в морозы, огромный и величественный в зеленой шубе, возвышался он над крестовой крышей дома, как загадочный свидетель минувших времен, чтобы потом, на Страшном суде, дать показания о всех бедах и преступлениях, совершенных людьми на его веку.

II

Нечто загадочное и тревожное мерещилось малому Демке в старом тополе. То Святое древо как-то странно посвистывало, будто созывало праведников на моление, то оно лопотало, лопотало ночи напролет, словно что-то рассказывало черно-

лесью на своем тополином языке, то в лютую стужу скребло по крыше голыми сучьями, ровно в тепло просилось, чтоб погреть задубевшие старые кости, то исходило натужным гудом перед непогодьем; и, когда налетала буря с Амыла, тяжело стонало. И чудилось Демке, что Святой тополь отбивается от несметной силы нечистых, и боялся, как бы он, не выдержав битвы, не рухнул на крышу дома. «Как бабахнется, так всех придавит. И меня, и мамку с Фроськой». Тятюку — рыжую бородищу — не жалел — пушай давит. Все едино Демке добра не ждать от тятки.

Со всем могла смириться Меланья: и со строгостью Филимона к малому Демке и к самой себе, и с тем, что жить стали в моленной, а вот нутро пересилить к квартирантке-ведьме, Евдокии Елизаровне, которая поселилась в горенке, никак не могла.

— Нишкни! — пригрозил Филимон. — Не твоево ума дело, как и што свершается в круговращенье людском. На земле проживают люди разных верований, и ничаво — ладят. Али я не гоняю ямщину? Пушай хучь сатано подрядит, господи прости, моментом в ад доставлю. Токо бы на возвратную дорогу ворота открыли.

— Сгинем мы, Филимон, от такового паскудства!

— Молчай, грю, ежели ум у те с коготь иль того меньше. Али не слышала: отторг я тополевою веру — белоцерковную, самую праведную, возвещать буду.

— Осподи! В церковь к нечистым метнулся!

— Не в церковь, а старая вера есть такая под прозванием Белая Церковь, самая праведная. Согласье такое единоверцев, и двумя перстами хрестятся, как мы. А по белоцерковной вере, как вот у Харитиньи, — вдруг проговорился Филимон и тут же смолк, до того неожиданно вылетело словечко.

— У какой Харитиньи?

— У праведницы, следственно, — сопел в бороду Филя.

Меланья припомнила:

— Осподи! Ты еще когда во сне Харитиньюшку нацеловывал да шанежкой называл. Знать, у Харитиньи скрывался все время, а мы тут слезами исходили, казни претерпели!

— Не болтай лишку, грю! — окрысился хозяин. — Али у самой хвост не припачкан? От кого выродок в доме моем хлеб жрет?

— Хлеб-то и мой, поди. Я ведь содержала дом и хозяйство, покель ты с Харитиньей гдей-то проживал.

Филимон перед малой силой скор на руку. Бах — врезал по шее Меланье, чтоб язык прикусила.

Меланья после такого разговора с мужем совсем сникла. Мало того что Филимон метнулся в какую-то чужацкую веру, так еще и Харитиньюшку завел себе — где только, узнать бы! Одна надежда у Меланьи — Демка. Вот вырастет, подготовится в духовники тайно от Филимона, а там и сама Меланья ко святым мученицам приобщится, как не поправшая святых заповедей Прокопия Веденеевича, с кем только и отведала малую толику бабьего счастьяца.

III

Осенней неисходной желчью налились листья старого тополя. Холодом тянуло с Татар-горы. Птицы сбивались в стаи. Откуда-то из неведомых углов, одна за другой, тянулись длиннущие журавлиные ленты и косяки гусей — летят, летят, и Демка провожает их долгим взглядом — самому бы взлететь за птицами на небо!..

В какой из дней осени Демка почал пятый год своей жизни, он, конечно, не ведал. Он любил играть под тополем с Манькой и светлоголовой Фроськой. Хоть на два года был младше Маньки, а в играх и забавах верховодил — «голоастый выродок растет», — отмечал про себя Филимон Прокопьевич.

Под тополем устильно от опавших листьев. Манька выкопала ямку в отвесном яру и пекла из глины с песком пирожки без огня и дров; малая Фроська — по третьему годiku — собирала листья в кучу: горку строила. Демка наломал гибких прутьев тальника, натыкал их вокруг тополя — как будто это единовержцы — и позвал к себе Маньку и Фроську на моление.

Маньке понравилась новая забава. На колени стали, молятся, а Демка-духовник, спиной к тополю, осеняет единовержцев самодельным крестом из связанных прутьев, бормочет нечто про Суса Христа, про святых угодников, и Фроська, еще не умея креститься, машет ручонкой возле своего пухлого личика и вслед за Манькой и Демкой неловко отбивает поклоны. В два-то годика Демка как крестился! Сам Прокопий Веденеевич хвастался, а у Фроськи не получается — соображенья мало.

— Мань, что она язык выпехала! — кричит Демка. — Сусе Христе, спаси нас от наважденья, от нечистого, что

не молитесь! — бьет Демка самодельным крестом по гибким прутьям. — А ты, рыжий, из веры в веру прыгать! У, анчихрист! Мякинная утроба! Как вот поддам крестом! Спаси нас боже!

— Дем, а ты кто?

— Духовник.

— Ой, ой! — таращится черными глазенками семилетняя Манька и быстро крестится. — Как был дедка, ага?

— Сусе Христе, помилуй нас! — дуется Демка. — Сейчас рыжего в геенну огненну пихну. Как поддам!

И Демка поддал одному из прутьев — в сторону отлетел, в геенну, значит.

— Дем, а кто рыжий?

— Не знаешь?

— Тятка, ага?

— Не тятка он! Сатано, сатано! Рыжий сатано! — орет Демка.

А сам «сатано», только что приехав с пашни и не застав Меланью с ребятенками дома, выглянул в окно моленной, распахнул створку и прослушал весь детский лепет новоявленного духовника, в холщовых штанишках на лямке, босоногого, и увидел, как этот духовник бил самодельным крестом анчихриста рыжего, прыгающего из веры в веру, да еще назвал мякинной утробой. Такого поношения Филимон стерпеть не мог. Ему и в голову не пришло, что мальчонка бормочет не свои слова, а мамкины.

«Осподи! Выродок-то куды метит! — таращился Филимон, готовый выпрыгнуть из окна — до того вскипела ярость. — Ужо в силе я покель. Покажу ужо окаянному!»

Манька с Фроськой все еще стояли на коленях возле тополя, когда подбежал тятка и схватил Демку за ворот рубашонки. Демка остоленел от испуга, округлил глазенки на рыжую бородищу.

— Кого в геенну, гришь? Каку рыжу бороду?

А тут еще Манька брякнула:

— Это он про тебя, тятя, сатано, грит, рыжий.

— Пшли домой, живо!

Манька подхватила Фроську и убежала. Таская за собой Демку за ворот, Филимон собрал в пучок наломанные таловые прутья; спустил штанишки с него и голову зажал промежду толстых ног в бахилищах.

— Сатано, гришь? В геенну огненну, гришь? Вот тебе, проклятуший, геенна! В духовники метишь, окаянный? Вот тебе духовник, духовник, духовник! Чтоб не встал, не сел! Не встал, не сел!..

Демка визжал, хватался ручонками за продегтяренные голенища бахил, а таловые прутья, которые он сам же наломал и натыкал в землю возле тополя, собранные рыжим чудищем в пучок, будто насквозь прошибали Демкину кожу — дух занялся. Демка звал мамку, но мамка была где-то на огороде, Демка захлебывался собственным криком, тело его дергалось, как у лягушки, и только старый тополь мирно пошумливал своей желтой шубой, роняя наземь широченные листья, и послеобеденное солнце все так же покойно цедило свои прохладные лучи сквозь толстые черные сучья.

Свистят прутья, кровь брызнула, а рука Филимона никак не может остановиться — злоба подхлестывает и разум затмился будто. Может, и не жить бы Демке на белом свете, если бы не раздался голос:

— Доколе, Господи! Доколе!

Филимон оглянулся — перед ним бабка Ефимия вся в черном с палкой в руке.

— Эко! — шумно перевел дух Филя, отбросив прутья.

Бабка Ефимия ткнула его палкой в грудь:

— Боровиков?! Ай-я-яй! Под древом казни казнь вершишь над ребенком? Али мало роду вашему убийства каторжанина? Али мало вам молитв на тополь, под которым убиенный лежит? И будет проклят ваш род, ежели не образумитесь и на жизнь по-людски не взглянете!

— Что несешь-то, старая! — огрызнулся Филя; Демка валялся между его ног, как промежду двух столбов — только вместо перекладины холщовая мотня висела над кудрявой головенкой.

— Изверг! Изверг! Людей позову сейчас. Людей! — наступала бабка Ефимия, смахивающая на черную птицу. Филимон пятился. Бабка Ефимия склонилась над ребенком — по голым ноженькам кровь бежит, от спины до ног все тело иссечено вдоль и поперек. Лежал лицом в землю, не кричал. Тело его подергивалось.

— Убийство вижу! Убийство!

— Окстись, окстись! — Филимон и сам перепугался: не пришиб ли насмерть выродка — беда будет!

— Смотри, смотри, Боровик-разбойник! На кровь смотри! Доколе сами себя изводить будете, Господи! Али крови возалкал? Людоедства возалкал? Али не из рода вашего изгой Филарет, яко змий терзавший сирых и бедных? Ларивона вижу! Ларивона!

Филимон топчется под тополем, бормочет нечто невнятное — из ума выжила старушонка! Но если бы он мог пораскинуть своим умом, то увидел бы, что бабка Ефимия — не просто престарелая старушонка, вся сжавшаяся в комочек, истоптавшая три бабьих века, — она, как и этот распахнувшийся вишьрь и ввысь тополь, была еще и живой свидетельницей времен и исчезнувших поколений людей.

Сохранив разум и память, пусть даже с провалами, она не в силах была уразуметь сути происходящего. В неведомом новом поколении видела нечто свое, одной ей доступное, а именно тех давнишних людей, кости которых истлели в земле; она их видела, помнила их дела и каждый раз, когда свершалось насилие, припоминала именно то, что было ей известно, возмущалась в меру сил и разума и строго судила живых, новых и неведомых, мерою того суда, какой свершился на ее памяти над исчезнувшими поколениями. Явственно видела в рыжебородом чудище Ларивона Филаретыча, убийцу родного брата, в могилу которого вбит был тополевым кол; видела тупых и до одури жестоких апостолов Филаретовых, душителей кудрявого Веденейки, — да уж не Веденейка ли кудрявый на ее старческих руках сейчас?

— Веденейку вижу! Веденейку, Богородица Пресвятая! Унесу сейчас. Унесу! Да пусть разверзнется земля под тобою, Ларивон, сын Филаретов!

— Чаво бормочешь-то, осподи прости!

— Не простит Господь, не простит! Убивства не прощаются! Земля, оскверненная кровью человеческой, кровью же и оmyвается!

Демка опамятовался — всхлипнул раз, другой; тело его конвульсивно передернулось. У Филимона отлегло от души — живой! «Экая у меня рука чижолая, Исусе Христе!» А вот и Меланья бежит в подоткнутой юбке. Задержалась на миг, глядя на сына на руках старухи, кровь увидела на теле Демки и, коротко взвизгнув, как росомаха с дерева, кинулась на Филимона, вцепилась ему в бороду. Все это произошло так быстро, что Филимон не успел уклониться. Рвет, рвет бороду восставшая рабица господня.

— Окстись, окстись! — бормочет Филимон. — Опамятуйся! — А борода трещит, ажник слеза прошибла. Ударил Меланью в ухо — удержалась за бороду. На губах пена выступила, глаза дикие, распахнутые, лицо перекосилось. Филимон зажал ей ладонью рот и нос и тут же отдернул руку — мякоть ладони прокусила. И все это молча, будто Меланья лишилась языка. Такою рабицу Филимон впервые видел и не в малой мере трухнул. Если умом рехнулась — беды не оберешься. Ребенка изувечил, скажут, и бабу из ума вышиб. — Господи, господи! Опамятуйся, гря!

А тут еще бабка Ефимия подкинула:

— А, разбойник! Каково? На всякого зверя — волчица сыщется.

Голос бабки Ефимии дошел до сознания Меланьи, и она вдруг обрела дар слова:

— Сатано ты, сатано треклятый! Ребенчишка мово в кровь избил, лихоимец!

Вывав руки из лап Филимона, Меланья царапнула его по пунцовому лицу своими черноземными ногтями — кровцу добыла. Рубаху разорвала до пупа.

— Асмодей, асмодей! — кричит. — Топором зарублю! Грех на душу возьму — заааруублюу!

— Экое! Экое! Ополоумела!

— Саатааанооо!

Филимон оторвался-таки от взбешенной жены и прыгнул в сторону, за тополь, припустив по чернолесью — только сучья трещали под ногами. Меланья запричитала:

— Иисусе, за-ради каких мучений токо я на свет народилась! Али мыкаться мне до смертушки, аль бежать куды, господи!

Черные пытливые глаза бабки Ефимии глядели на Меланью с великим сожалением и земным спокойствием. Сколько она, Ефимия Аввакумовна, повидала за свою жизнь слез рабиц господних, немало выплакала своих, обретая понимание людей; на всякую всячину нагляделась, а все-таки одного не уяснила: с чего это люди изводят друг друга?

— Не реви, бойкая! — строго сказала бабка Ефимия. Демка жался к старушонке, перепуганный дракою матери с рыжим тятькой. — Ты чья будешь? Из Боровиковых? Или у Боровиковых?

— Про што вы?

— Из Боровиковых или у Боровиковых живешь?

— Дык у Боровиковых.
— Кажись, у тебя ребенка принимала?
— У меня.
— Да ведь я девчонку приняла, помню.
— Девчонку.
— И этот твой?
— Мой. Сиротинка несчастная.
— Разве не мужик тебе этот, рыжий?
— Мужик. Сатано треклятый.
— Как его звать-то, запомятовала. На Ларивона запохажи-
вает.

— На какого Ларивона?
— Боровикова. Сына Филаретова.
— Не слыхала про Ларивона.
— Да тебе-то сколь годов? Звать-то как?
— Меланья. А годов мне за двадцать пятый три месяца
прошло.

— Богородица Пресвятая, как мне было на Ишиме, когда
пришел к нам человек светлый и разумный, в цепи закован-
ный, Александра Михайлович! Время-то сколь минуло! Но-
не-то двадцатый год исходит нового века, а с кандальником
свиделась в тридцатом старого века. Время-то, время!.. Стара
я, стара! Доживу ли я до дня светлого, когда люди не будут
терзать друг друга! Доколе же, скажи, совести каменной быть,
а разуму гнатым?

Меланья не понимала, о чем толкует старуха в монаше-
ском черном одеянии и отчего она так пристально уставилась
на нее.

— Не ведаю, про што говоришь, бабушка.

— Кем взрастишь сына, скажи: мучителем иль спасителем?
Если так вот будете терзать его, попомни мои слова, мучителя
взростите. И будет он казнить правых и виноватых, как секли
его до крови. Ишь как иссечен!

Меланья пожаловалась, что муж ее, Филимон Прокопье-
вич, невзлюбил ребенка и потому изводит его денно и ночью.

— Так и сбудется, — вздохнула бабка Ефимия. — Мучите-
ля взростите.

— Духовником он будет. Клятва такая на нем.

Ефимия вздрогнула и посмотрела на Меланью взыскую-
щего:

— Каким духовником?

— Нашей веры, тополевой. Как от крещенья тополевец.

— Ведаешь ли ты, что глаголешь? Матери ли говорить такие слова? Духовник у старообрядцев, как и поп в церкви, чтоб блуд покрывать блудом, невежество — невежеством, дикость — дикостью и чтоб люди до скончания века утопали во мшарине невежества! А ежели парнишка твой станет потом духовником, каким был Филарет?

— На святого Филарета молимся, как прародителя нашего.

— Нечисть то! Нечисть! Еретичество! — рассердилась бабка Ефимия, подымаясь от тополя, где она сидела.

Демка чего-то испугался, отполз от старухи, подобрал свои штанишки с болтающейся лямкой. Меланья кинулась к нему и подхватила на руки.

— погоди! погоди! Сказать тебе надо, женщина, — остановила ее бабка Ефимия. Имя Меланьи успела забыть — так резко рвались нитки в памяти. — погоди! Ты вот сказала, чтоб он, сын твой, стал духовником, каким был Филарет. А ведаешь ли ты, мать сына своего, каким был Филарет-мучитель? Да ежели он взрастет Филаретом — много крови прольется! Много будет несчастных, как ты вот сейчас! Знаешь ли ты, какую казнь учинил над моим телом и духом Филарет-мучитель? Как удавили под иконами сына мово, Веденейку кудрявого, Филаретовы апостолы? И крик был, и вопль был. Вопила я, видит небо, да не внял моим воплям ни Иисус Христос, ни отец, ни дух святой, ни сам Филарет Наумыч. Скажи же...

Меланья не стала слушать: Демка плакал от боли — на руках сидеть не мог.

— Чой-то вы пристали ко мне, бабка? Самой тошно. Голову не знаю где приклонить, а вы говорите всякое. — И ушла.

— Нету прозрения, вижу! Тьма пеленает людей, — сказала вслед Меланье бабка Ефимия.

...Все это время, после того как дом Ефимии в прошлом году сожгли белые, а люди метались в схватках друг с другом — красные с белыми, белые с красными, бабка Ефимия, покинутая всеми, нашла себе пристанище в старообрядческом женском скиту в Бурундате, куда Меланья отвезла хворую сироту Апроську. Но и в Бурундате у монашек не прижилась мятежная старуха — попрала старообрядческий устав, объявив его еретичным, и добиралась теперь до Минусинска в поисках своих дальних родственников. По пути в Минусинск заехала в

Белую Елань, чтоб поклониться могиле Мокея Филаретыча — старому тополю, и тут застала зверство — избиеие ребенка.

И подумалось Ефимии: не от того ли в мир приходит жестокость, что люди, терзая друг друга, сами не зная того, порождают изгоев, а не праведников? В любви рожденный, без любви возвращенный — кем будет? Зверем.

Погостила бабка Ефимия у тополя, вороша свои древние мысли и столь же древние видения, и пошла по стороне Предивной в поисках приюта на ночь.

Боровиковых минула — чуждые люди...

IV

Была ночь. И была тьма.

Черная осенняя тьма за окнами под тополем. И черная тьма на душе Меланьи.

Рабица господня отстаивала всенощную молитву перед иконами, чтоб настало прозрение. Молилась, молилась.

Мерцали у древних икон три свечечки.

Рядом с Меланьей лежал топор.

Филимон знал, зачем Меланья взяла топор и держала его под руками, а потому и удалился в горницу, где проживала квартирантка, Евдокия Елизаровна.

Квартирантка три дня как уехала в казачий Каратуз.

Филимон не знал, что в Каратузе, в Арбатах и в Таштыпе восстали казаки.

Уезд будоражился. Партизаны крестьянской армии Кравченко и Щетинкина ушли в Ачинск, у Красноярска белые, улучив момент, подняли казаков...

Филимону намылила шею гражданка. Глаза бы не глядели ни на что в этом круговращенье.

Меланья молилась, чтоб святые угодники надоумили, как ей спасти возлюбленное чадо — сына Демида, чтоб не быть клятвopепреступницей перед убиенным Прокопием Веденеевичем.

Молитва на измор тела — тяжкая, а голоса видений тихие и внятные, из уст в ухо будто.

Меланье послышался голос Прокопия:

«И сказано, исполни волю мою: быть Деомиду духовником. Пущай ярится мякинная утроба, а ты будь твердой, каменной и обретишь силу. Вези к праведницам в Бурундат Демида, куда отправила в храмов праздник сироту Апроську, и попро-

си игуменью Пестимию, чтоб обучили чадо читать Писание, службы править и чтоб не опаскудился он среди нечистых, которых везде много. В обители будет ему спасение. Пушай не даст корову Филимон для Апроськи, а ты отрой мой клад и возьми с собой долю и отдай Пестимии — ребенчишка примут и благодать будет».

— Слышу, слышу! — воскликнула Меланья. Детишки не проснулись от ее голоса. Демка спал на животе и во сне постанывал — на спину не мог перевернуться. — Слава Христе, слава Христе!

Утром Филимон собрался и уехал на пашню с двумя поселенцами — молотьба подоспела.

— Оставляю Карьку, — сказал Меланье вскользь, глядя куда-то в сторону. — К обеду чтоб привезла молотильщикам снеда, да не забудь, накопай в огороде картошки. Молитвами хлебушка не омолотишь!

Меланья ничего не ответила. Но как только закрыла ворота за Филимоном, поглядела туда-суда по ограде, взяла заступ и топор и пошла в баню.

Помолилась на закоптелую икону.

Убрала пустую кадку, вывернула топором три половицы и стала копать. Как говорил покойник свекр, Прокопий Веденеевич, — наискосок под угол бани. Заступ ткнулся в камни. Убрала камни руками. Под камнями, обложенные шерстью со всех сторон, два берестяных туеса.

Достала один — замшелый, отсыревший, с налипшей шерстью. В бане было сумрачно, и она вынесла туес в предбанник. Выглянула — нет ли кого на заднем дворе и в ограде? Никого. Крышка туеса не поддавалась — разбухла и будто впаялась в бересту. Выбила ее топором. Оказывается, гвоздями была прибита по кромкам туеса. Сверху слой слежавшейся шерсти — для чего, не понимала. Под шерстью холщовый полужек, а под ним пачки, пачки, пачки николаевских денег в бумажных банковских перевязях, и все крупные бумажки, золотом когда-то обеспечивались. По виду пачек — деньги не были в обращении. Будто покойный Прокопий Веденеевич получил их из рук в руки от самого помазанника божьего, самодержца российского Николая Второго.

Меланья знала, что в этот двадцатый год Филимон платил налог еще николаевскими, а керенские и колчаковские и всякие губернские боны не принимали в Совете.

Под пачками николаевских — четыре золотых кольца, два толстых из червонного золота, обручальных, а два с камнями — из дорогих, должно. Два золотых крестика на тонких цепочках. На чьих шеях висели эти крестики — кто знает; Меланья о том не подумала. Четыре золотые серьги с камнями — из чьих ушей, знать бы! Ах, какие сережки! Вот если бы тополевая вера не была столь строгой к женщине — можно было бы носить в ушах серьги, золотые кольца, как бы Меланья могла нарядиться! Вот диво-то — к чему тятенька накопил серьги и кольца, с какими хаживают никониановские срамницы! Должно, получил от каких-то богатящих пассажиров во время ямщины. Сколь ямщину-то гонял!.. И пачками николаевских платили, должно, и серьгами с кольцами, и крестиками — и кресты анчихристовой печати.

Серебряные рубли и полтинники — много, много, много. Выгребла из туеса, отложив к пачкам и золотым безделушкам. Под серебром —

золото

золото

золото

золото!!!

И сразу, в тот же миг, сатано лягнул Меланью своим раздвоенным копытом — затряслась как в лихорадке. Торопится, торопится, оглядывается, а в пальцах, в трясущихся пальцах —

золото

золото

золото

золото!!!

Испугалась чего-то, накрыла сокровище жакеткой, выскочила из предбанника — никого, ни души! И бегом обратно, к сокровищу. Выгребла в кучу золото — много-много. А сколько? Считать не умела. Знала только дюжину — двенадцать. Вся превратившись в слух, поспешно раскладывала золотые на кучки по дюжине монет в каждой. Спешила, путаясь в счете, снова пересчитывала; двенадцать дюжин и еще семь золотых к ним. Серебро и бумажные не стала считать — ума-то сколько надо! Писарь, может, не сосчитает!..

БОГАТСТВО

БОГАТСТВО!..

Перевела дух, помолилась, сидя на корточках.